

Вл. ИЗМАЙЛОВ

Последний ПЕРЕВАЛ





Владимир Алексеевич Измайлов — автор четырех поэтических сборников. В 1963 году принят в члены Союза писателей.

Коренной сибиряк, он любит и хорошо знает родной Кузбасс. В. Измайлов долгое время жил и работал в Горной Шории. О красоте этого края и его людях и повествует сборник рассказов «Последний перевал», первая, кстати говоря, книжка автора в прозе.



УЗБАСС
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Вл. Измайлов

15051

Последний перевал

из рассказов
про деда самою



Кемеровское
книжное
издательство
1964



У НЕБЕСНОГО ПОТОЛКА

Дед Самоя не шибко хотел летать. Совсем не хотел, пожалуй. Всю жизнь по земле ходил — зачем летать, не птица, поди, старый охотник. Колька Ваныч — другое дело. Большой друг Колька Ваныч по земле меньше ходит — летает больше. Потому что — летчик он, человек-птица.

С той поры, как крепко выручил дед Самоя упавшего в тайгу Кольку Ваныча, много раз звал его в гости летчик. Сам в гостях был у Самои с Прасковьей. Да раньше больно далеко садился Колька Ваныч, несподручно ходить было. Зато, если, пролетая над заимкой, качал крыльями самолет, дед Самоя радостно кричал:

— Эзен, Колька Ваныч! Эзен, друг!.. — и долго шапкой махал.

Теперь совсем близко садятся самолеты. Новое место нашли им, ровную поляну, «ирадром» зовут. Трудное слово, на язык не ложится. А поляна — хорошая, большая, ровная. Много ли в тайге таких?

...Теперь гостевал Самоя у дорогого друга: верст пятнадцать всего от заимки, стыдно в гости не ходить. Рядом вовсе. Все ладно

было: чай пили, хороший, крепкий чай, колбасу ели, добрый табак курили. Потом «ирад-ром» смотрели: длинную избу-мастерскую, маленькую избу — «радива». Чудной полосатый мешок на шесте смотрели — ветер ловит, куда дует, показывает.

Все ладно было. Потом совсем неладно стало. Когда подошли к самолету, дед Самоя спросил:

— Тот, што ли, самолет, Колька Ваныч?

— Тот самый, дед.

— Все изладил, который полагался?

— Все, Самоя, все. Летает, как новенький!

И тут произошла беда. Колька Ваныч весело попросил:

— Полетим, дед Самоя, уважь меня, а?

Забоялся Самоя, запыхтел трубкой, все мысли растерял. Отказ выдумать надо бы, Кольку Ваныча обидеть не надо бы. А парень Васька, здешний вовсе парень, рыжий и озорник большой, которого теперь все уважительно звали «меканик», небрежно сказал:

— Другие, конечно, боятся, трусят. Говорят — «айна», мол, злой дух. А ты — вся тайга знает! — смелый человек.

— Айна? Эта самолет — айна, что ли?

Дед Самоя вынул трубку изо рта, лучики морщин сбежались у глаз, глаза вовсе в щелочки спрятались. Губы открыли прокуренные, черные, но все еще крепкие зубы. Засмеялся дед Самоя. Тоненько и долго смеялся, даже слезинки выбежали из прихмуренных щелочек глаз.

— Самолет — айна! Ай, темный люди какие есть, Колька Ваныч, а? Думал, нет больше

в нашей тайге таких! Этому айну рази не я починять помогал, когда ты тайгу падад? Крыло я маленько протыкал, рази айна съел меня? Чего-то он молчал, эта злой дух. А вот ты, Колька Ваньч, ругал меня маленько: и так крыло дыроватый стал, пошто новый дырка делал? Хе, какой айна терпеливый, который год Кольку Ваньча верхом возит!..

Хохотали люди в промасленных кожаных куртках — веселые, здоровые, крылатые люди, большие друзья деда Самои. Запрокинув голову, густо хохотал Колька Ваньч, подвизгивал от удовольствия дед. А когда отсмеялись, Самоя понял, что не лететь ему — нельзя!..

Парень Васька-механик, глядя на деда серыми отчаянными глазами, сказал:

— Теперь дед Самоя хозяин этого айны. Он самолет вырубил, мы его отремонтировали, летает, как новый! Кого же, как не деда Самою покатасть на нем?

Отказаться было нельзя. Лететь — страшно, оставаться — стыдно. Однако стыд-то куда хуже страха: страх проходит, стыд остается, а со стыдом как жить человеку?..

Васька-механик стянул с рыжей головы кожаную шапку с длинными ушами, надел ее деду на голову. Другой парень скинул свой кожаный пиджак, на деда надел. Теплый, вроде полушубка, великоват деду маленько, а то бы вовсе ладно. Зеркало деду показали. Из зеркала глянул совсем настоящий летчик, только вот бороденка редкая торчала, да глаза стали круглые, как у напуганного бурндука.

Усадили деда в гнездо-закуток, ремешком-опояской застегнули. Руками все замахали. Дед Самоя тоже замахал, но чего-то плохо рука махала...

Мотор заревел, затрясся, самолет рванул-ся с места и побежал шибко. У старого охотника все тело затряслось, вся душа затряслась тоже. Вроде ровная поляна была. Самоя ходил по ней—не спотыкался, люди бежали—не спотыкались. Самолет побежал—чего-то спотыкается. Сломался, может? Потом перестал спотыкаться, остановился.

«Вовсе ладно, — обрадовался Самоя, — раздумал лететь Колька Ваныч, вылезать буду».

Но тут Колька Ваныч оглянулся, крикнул что-то, да не слышно — мотор ревет, как сердитый медведь. Рукой вниз показал Колька Ваныч.

Глянул Самоя — сердце в обутки провалилось, дышать позабыл: страшно глубоко внизу земля скособочилась, крохотные домишки катились с нее куда-то вбок. Река змеей вилась, будто не успевала уползти в гору от неведомого врага. Еще успел заметить Самоя: горы совсем маленькими стали, удирают куда-то, как мыши от лисы. Больше не глядел Самоя. Зажмурился...

...За край кабины держался Самоя — ноги куда-то девались. А когда одеревенелые руки разжались — опустился на землю около крыла — на травку. Без ног как стоять будешь? Травка мягкая-мягкая, земля никуда не бежит и не кособочится больше. Качается только маленько. Горы, однако, тоже стоят

на месте.

Позабыв от волнения русские слова, дед Самоя дрожащим голосом сказал:

— Шибко хорошо летали, ноги вот отсидел только. Табуретка-то самолета низкая, сидеть мягко, а ногам — неловко.

И лишь через несколько минут повторил все это по-русски.

Рыжий Васька непочтительно обругал за это Кольку Ваныча:

— Тоже, дух, не мог кресло из конторы взять?

— Ничего, — уже бодро сказал дед, — зачем креслу таскать и так ладно слетал.

— Ну ты и молодчина, отец! — восторженно хвалил Колька Ваныч. — Прямо герой, вниз глядит, ничего не боится!

И дед Самоя поверил, что он и верно ничего не боялся, и сказал:

— Пошто, паря, выше не летал? Я кричал, однако, тебе...

И испугался: может, Колька Ваныч знает, что он молчал, как рыба?

— Да ведь мотор шумит, плохо слышно-то.

— А главное — потолок! — Сурово поправил парень. — Некуда выше, до потолка добрались.

— Верно, верно, дед, — подхватил Колька Ваныч, — выше потолка нельзя никак!

Дед поглядел в небо. Синяя-синяя крыша. Высоко-высоко облачко стоит. Зацепилось, наверно. Пониже коршун плавает, жалобно кричит. Обидно, поди, — Самоя выше летал. И гордо подумал старик: «Вот Самоя Таска-

чаков, неграмотный охотник, с хорошим другом Колькой Ванычем долетел до небесного потолка! Какой айна может такое?..

Э, ввали сказки про семь небес: одно вовсе небо. И у него есть потолок, как у хорошей избы, и до этого потолка подымался Самоя на самолете. Выше кто летал? Один Гагарин разве. Однако к звездам летал Гагарин, поди посмелее Кольки Ваныча будет. Або-о, такому парню что небесный потолок!..

— Однако-то другой раз полечу. — Вслух подумал Самоя. — Нынче-то, поди, пусть отдохнет самолет.

— Конечно, — с радостью согласился друг Колька Ваныч, — полетим. Ты тайгу всю обходил — теперь сверху посмотришь.

А Васька-механик с грустью сказал:

— Отчаянный ты, дед! Я вот и механик уже, а летать боюсь. Боюсь! — и замотал рыжими кудрями.

Поверил Самоя и утешил его:

— Пошто бояться? Не надо бояться, Васька, — меня спроси, не страшно ли...

Сердечно простился со всеми дед Самоя и домой пошел. Будто по новой земле пошел — так непривычно было! Когда тропка на хребет вывела — тайга открылась далеко далеко, песня запросилась на волю.

Далеко видно с высокой горы,
Еще дальше — с богатыря-Каратага.

А с крылатой машины, которую зовут
самолет.

Глаз устаёт от простора!
Всю жизнь Самоя по тайге бродил,
Нищета, темнота у подножия гор
Советская власть бедняка вывела

На высокую вершину, откуда видно
солнце
А теперь у Самой — крылья богатыря.
Ай-а, кичливый коршун, где тебе до меня!
Эй-е, гордый орел, где тебе до меня!
Я, Самоя, с русским дружкой Колькой
Ванычем
Поднимаюсь до недостижимого для вас
небесного потолка!
Мог бы я без хорошего дружка Кольки
Ваныча полететь.
Да худые глаза плохо грамоту
разбирают.

Громко пел Самоя и молодец будто. От хорошей песни душа молодеет, от хорошей жизни человек молодеет. Шибко хорошо пел Самоя, эх, передразнивать не смело, повторяло послушно слова песни.

Радостно было на душе и грустно немножко: столько лет самолеты над головой летали, пошто раньше не попросился ни разу в небо?

Всю жизнь человек землю ногами топчет. Теперь Самоя твердо знал: надо на нее хоть раз поглядеть и сверху.

Обязательно надо!..

КАК НАПУГАЛИ ПАРАСКОВЬЮ

К самолетам в тайге кто не привык? Все привыкли. И Парасковья — тоже. Летит, гудит, — посмотришь на него и ничего, пролетит. Люди на них летают, лёчиками зовут тех людей. Раньше не верила Парасковья, теперь верить стала: старик сам летал. С другом Колькой Ванычем, которого в тайге выручил. Не упал пошто-то...

Сам-то Колька Ваныч падал. Один раз. Может, и больше падал, кто знает? Однако не убился. Ай, крепкие люди эти лёчики! С неба падают, не убиваются. А давно было — парнишка с соседней заимки с кедры упал. Акметом звали. Шишковал да упал. Долго хворал, ничего, не помер. С тех пор, однако, стал маленько головой дергать. И заикается, слова жует. Кто его знает, почему?

На большую войну мужиков брали, парней брали тоже — Акмета не взяли. Нельзя, видно. Которые хорошие парни потом погибли, которые вернулись с войны, — Акмету дома что сделается? Ничего не сделалось. Живет, а только девки замуж не идут — за чем головой дергает?

Хворый просто, а люди за дурака считают. Жалко даже человека — пошто врачи не помогут?..

Колька Ваныч с неба падал, повыше, поди, Акметовой кедры. И ничего. Не поверила бы Парасковья, нельзя не верить: старик шибко правдивый человек. Никогда не врал.

...Гостевал потом у них Колька Ваныч. Хорошо гостевал. Гуляли, медовуху пили. Однако мало пили: старик Самоя сроду пить не любит, Колька Ваныч молодой, пошто пить не любит? Одна Парасковья пила — медовуху жалко. Зря, что ли друг-пасечник Апонька Пилич целый туес привез? А без гулянки какое веселье? Однако скучно не было, гость больно веселый человек был. Ладное было гостеванье. Ели много, особенно гость. Уважительный.

Много смотрела Парасковья — нет, не дергает головой Колька Ваныч. Только когда хохотать захочет — дернет головой назад смешно, ровно конь. Так хорошо хохочет — Самоя не удержится, смеется, Парасковья не удержится, смеется. Совсем ладный парень Колька Ваныч, здоровый, красивый. Пошто не женится только?

Старику Колька Ваныч новое ружье подарил. Парасковье платье подарил, шибко хорошее, носить жалко. Нет, ничего, ничего не скажешь — славный друг у Самои Колька Ваныч. Хорошие люди любят Самою.

Давно не боится Парасковья самолетов. Чего бояться — хорошие люди летают. Смелые. Самоя летал, а кто смолоду смелей его был? Не было по тайге никого смелее. Жалко,

маленько полетал старик, маленько испортился. Кермежеков изрубил, в печке сжег. Говорит «зазнательный» стал. Какой такой «зазнательный»? Старый просто стал. Дурак маленько стал. Икону изрубить хотел, русскую икону, Миколу-Ворицу. Не дала Парасковья, крещеная, поди. Поп Микешка крестил давно. Две лисы брал, десять белок брал. Зато имя хорошее дал — Парасковья. Раньше по-шорски-то Силичак звали. Тоже ничего имя...

Не дала Парасковья Миколу-Ворицу рубить. Хороший старик, святой. С бородой. Узкая борода, на шорскую похожа, погуще только. Икона черная вовсе, лица не видно, одну бороду видно. Может, в бороде святая сила-то, кто знает. Пришлось Самую маленько даже по спине огреть. Хохотал Самоя и ругался, на молодой жениться грозился. Нарочно грозился, Парасковью сердил.

Кермежеков она тоже новых наделала. Из кедровой чурки. Из березовой делать — сил нет, стара стала. Наделала и спрятала под крышей на вышке. На всякий случай. Кам Шатый шибко пугал Парасковью. Однако шаману совсем-то верить нельзя, врет больно много. Всех лечить хочет, а сам захворал — испугался. К русскому доктору велел везти в больницу. Вылечил доктор, только совсем просмеяли Шатые — шорцем доктор-то оказался! Да и какой он Шатый, настоящий-то Шатый давно был. Однако шаман все-таки маленько камлает. И кермежеки пусть лежат, кому мешают? А на душе спокойнее...

Старые думы медленно текут, ленивые думы стали. Сидит Парасковья, поджаренный

ячмень толчет — толкан делает. Хлеб в лавке есть. Все есть, а толкана нету. А как без толкана шорцу? С калиной пареной хорошо, и с медом хорошо, и с горячим чаем хорошо тоже. На промысел много ли хлеба возьмешь? Да и замерзнет хлеб. Муку взять — где лепешки печь? А толкана пуд ли, полтора ли взял — ползимы промышлять можно. Не ходит на промысел Самоя, а все нельзя без толкана...

Опять самолет загудел. Только неладно как-то загудел, испортился, что ли? Вылетел из-за горы, над избой крутит тонкими крыльями. Пошто крутит — раньше не крутил, как ястреб парил. Сейчас крутит. Куры врассыпную кинулись. Старый Тугурук начто ленивый стал, а завизжал, под избу полез.

Чудной самолет, раньше таких Парасковья не видела: вроде стрекозы, хвост тонкий и долгий. Совсем над избой повис, крыльями крутит. Ветер поднял большой. Зачем висит? Раньше не висел, прямо летал. Высоко летал, не останавливался. Сейчас остановился, вовсе низко повис, рукой достать ли, не достать ли. Много чего Парасковья видела, много чего узнала. В больнице лежала, кнопкой лампу гасить научилась, зажигать научилась. А сейчас перепугалась Парасковья: никогда такого не видела. Воротцы открылись в самолете, лестница оттуда упала — веревки с палочками. Человек по лестнице на землю лезет.

С места не двинется Парасковья, как камень стала, как пень в землю вросла — Самоя перед ней стоит. Ее старик, Самоя. С неба слез, однако, живой. Смеется, кричит чего-

то. Ничего не слышит Парасковья, перепугалась шибко. Потом услыхала — Самоя рукой махнул лечику, закричал по-русски:

— Слезай, паря Мукайля, мед ись будем. Пускай ветролет повисит там. А то на стайка поставь, там крепкий крыша, выдюжит, поди.

Однако летчик помахал рукой, лестницу подобрал, полетел. Скоро совсем тихо стало: ветра нет, шума нет, самолета нет. Самоя есть. Стоит, смеется, говорит что-то. Айна, может, не Самоя? Самоя, пожалуй. Шибко важно сказал:

— Я ему на Темир-су велел лететь. Железо там нашли, кормить людей надо. Хлеб надо, колбасу, ган... ганцерву надо. Пусть летит. Гостевать другой раз будет.

Поглядел на Парасковью, совсем засмеялся:

— Э-е, баба! Не вросла ли ты в землю с перепугу, как железный столб. Трех коней за тебя привязать — не убегут, трахтур привязать — никуда не убежит!..

— Тьфу, шайтан! — Разозлилась Парасковья. — Старый дурак! В небе весь ум ветром выдуло! С неба по лестнице лазить стал, дурной вовсе.

Еще плюнула, погуляла — ноги со злости появились. Живые ноги, ходить хотят, стоять возле старого дурака не хотят.

Ушла в избу Парасковья, шибко рассерчала, будто просмеяли старуху.

— Э-е, старуха! — Похвастал вдогонку Самоя. — Новый лечик большой друг мне. Мукайля звать, Василичем звать. Ай, хороший лёчик. Машину ветролет звать, я ее всю те-

перь знаю. Однако куда ветру до нее, отстает ветер!..

Но Парасковья слушать не стала, даже дверью хлопнула, избу заперла. Летний день, жаркий, зачем избу запирасть?

— Вовсе незазнателный старуха стал! — сказал Самоя. — Учить, поди, надо бы ее...

Сел было Самоя — не сиделось. Казалось, все еще летит, казалось, в душе крылья выросли, душа в небо просится. Э, жалко стариков давнишних: столько на земле жили, никогда не летали!..

В небо поглядел Самоя, где еще недавно машина-сказка висела. Тихо было в небе, и светло было в небе. Как, правда, не напугаться старухе — самому не верится, что оттуда по лестнице слез! Ай, время пришло — помирать не захочешь!

И закурил неумело папиросу из подаренной летчиками коробки, где около горы скакал на коне нарисованный мужик в шапке. На коне-то скакать кто не умеет? Этого бы мужика на ветролете прокатить — шапку бы потерял с перепугу. Самоя, небось, не потерял!..

Папироса была слабая, свой табак куда лучше. Однако обидеть друзей не хотелось, и дед Самоя измял две папиросы, набил ими трубку, затянулся.

И вдруг, вспомнив самое главное, что хотел сказать старухе, с торжеством закричал Самоя в закрытую дверь избу:

— Твой Микола-Ворица пошто ни разу по лестнице с неба не слезет, э-е, старуха? Однако его там вовсе не было!..

ЗАКОН ТАЙГИ

...Гостю в тайге кто не рад? Далеко от людей жить — любому прохожему обрадуешься. Новости принесет, расскажет, что радио говорит, что газеты говорят, что люди судят. Чаю попьет, бутки высушит, в тепле выпит — с легким сердцем своей тропой уйдет. Самоя сам гостевать любит, когда люди у него гостюют — тоже любит. Крепким чаем напоят — самовар хороший подарил друг-Апонец. Большой самовар, с трубой-коленом. Блестит весь. Березовых углей для него напас Самоя — с березовых углей долго горячим самовар живет, песни поет, насвистывает...

Славно чаевать с гостем у такого самовара, говорить не торопясь, слушать, не отворачиваясь. Однако этому гостю не больно обрадовался хозяин.

Тюгурук и взлзать не успел, как в дверь вскочил человек.

— Молодой, — подумал Самоя, — больно резво вбежал...

Однако стариком гость оказался. Шапку снял, ватную фуфайку снял, на лавку бросил.

Котомку еще раньше снял — из рук не выпустил.

— Эзен, — сказал. — Холодно, однако...

— Эзен, — Самоя ответил. — Как не холодно, зима, поди, на дворе. К печке проходи, грейся.

Грелся гость, котомку в руках держал. Разглядел Самоя, чуть не сплюнул: никудышный человек пришел, кам Шатый. Кам не настоящий, и человек не настоящий — гостем настоящим бывает ли? Плохую славу, как тень горбатого, только ночь скрывает.

Однако гость все-таки. Далеко шел. Самовар поставил Самоя, угощать стал. Гость за стол сел, чай пил, сахаром хрустел, как медведь костями. Котомку на колени положил — пухлая котомка, мешает...

— Новостей нет ли? — Самоя спросил.

— Хороших — нет! — сердито отвечал гость.

— Хорошие новости, поди, за хорошими людьми ходят?

— Нет хороших людей! Ты один живешь, Самоя, тебе, может, хорошо.

— Кто не один живет, тем плохо стало ли?

— Митьша-минсанер совсем собака стал, людям житья не дает. Своим шорцам житья не дает даже! Русский Витьша-спектор сразу собакой родился: всех охотников хичниками-праконерами зовет, тюрьмой грозитя...

— Эко, худые люди стали Митьша да Витьша! — Удивился Самоя. — Пошто такие стали? Раньше хорошие парни были! Может, порчу напустил кто? — Теперь хорошо догадался Са-

моя, какой такой ветер занес этого гостя на Ак-су...

— Хо, порча! Минсанера какая порча возьмет? Нет такой порчи! Арачки нет ли? Водки нет ли? — Помолчав, спросил гость. — Я бы выпил.

— Я бы тоже выпил, — сказал Самоя и новый самовар поставил.

Пил гость чашку за чашкой, потел капля за каплей, пока весь чай с лица дождем не пошел. К стене откинулся, отдыхал. Живот поглаживал одной рукой. Другой — котомку держал, отпустить боялся...

— У тебя мешок-то не с гадюками ли? — спросил хозяин.

— Пошто... с гадюками? — Даже вздрогнул гость.

— Вижу, держать тебе боязно и бросить страшно.

Захихикал гость, польстил хозяину:

— Веселый ты человек, Самоя, шибко веселый!

— Я — веселый, правда. — Согласился Самоя, — сроду такой. А ты, однако, чего-то совсем невеселый? Как зовут тебя, гость, не знаю.

— Как не знаешь? — Удивился гость. — Кам Шатый я!

— Знал я кама Шатыя одного. Давно был.

— Был, верно. Сильный был кам, смерть мог напускать, мог отогнать, как захочет.

— Верно, верно. Мог смерть напускать, знаю. Банду Чардынь-суки в этих местах били — Шатый смерть напустил на двух чоновцев. Из большой русской винтовки. А смерть

из маленького нагана отогнать от себя не смог, однако. Стрелял командир — подышал кам!..

— Врут люди! — очень сердито закричал новый Шатый.

— Врут, врут. — Сразу согласился Самоя. — Один старик пуще всех врет.

— Какой старик, скажи? Как зовут, не знаешь ли?

— Как не знать, знаю. Самоя Таскачаков зовут старика! — И глаза у Самои стали, как у рассерженной рыси. Испугался кам, крепко испугался. Похоже, рассердил Самою — вся тайга знала правдивость глупого старика. Сердить-то его не надо бы, помочь откажется — отберут у кама его котомку, в тюрьму посадят. Тоже старый стал кам Шатый, где убежать? Проклятый охотинспектор Витька по горам пуще козла-курана носится. Про Митьку-милиционера и говорить нечего — шорец, на лыжах вырос. Поди, прибегут скоро... Задобрить надо Самою, разжалобить надо.

— Э, пошто сердился, Самоя? Шутил ведь я.

— Шутить-то ладно умеешь. Русские говорят — как черт в лыву дунул!

— Эдак, эдак, — согласился кам. — Эти русские чего не скажут! А с Шатыем не виноват я: во сне он ко мне приходил. Силу его велел взять, бубен велел найти, камлать велел. Я как отказаться мог? Бубен-то не нашел, свой изладил. Камлать маленько стал, людям помогать...

— А-а, во сне-то ладно. Во сне даже украсть можно, Митьша-милисанер и тот ни-

чего не скажет. И помогать людям во сне — не вспотеешь. Даже если камлать...

Этот кам Шатый Урмалаем Крачнаковым еще недавно был. А Урмалая того никакая работа не любила. Всю жизнь не любила — разве виноват он? Охотником не стал — трудно: белку стрелять — мала больно, вдруг промахнешь? Медведя стрелять — большой больно, вдруг попадешь?

Рыбаком не стал тоже: на перекатах вода быстра, на плесах вода глубока, рыбу не видать, куда перемет кидать?..

В колхозники не захотел, говорил: зачем шорцу землю ковырять, шорцы сроду охотники да рыбаки!..

Может, шишковал бы осенью — на кедровые лазили высоко, может, кандык да сарану копал бы весной — к земле нагибаться низко. Э, как трудно человеку, правда: на вершине горы ветер продувает, у подножия горы обутики промокают. По тайге ходить — бурелом густой, по лугам ходить — трава высока.

Как не поверить человеку — плохая жизнь!

Любил Урмалай Крачнаков араковать у чужих людей, любил по гостям ходить. Тайга велика, ходи от улуса к улусу, от деревни к деревне: пока на последней заимке гостюешь, на первой забудут, когда был, как новый гость придешь.

Русских ругал, колхозы ругал, сельсовет ругал: кормить не хотят, работать заставляют. Как не понимают — без кормежки человеку жить нельзя, без работы вовсе можно!

После войны всем сказал, что на русского попа учиться пойдет — крещеный, все-таки,

А попов, говорят, никакой сельсовет на работу не гонит, за пьянку не ругает... Но чего-то не выучился Урмалай на русского попа, шорским шаманом себя объявил, камлать стал. Которые даже верили маленько — всю жизнь камы были, отчего этому не камлать?

Шатыем назвал себя новый кам. Правда, был раньше такой кам, старики помнят. Очень грозный был кам, богатый...

Только нынешнему Шатыю-Урмалаю не повезло. Как-то захворал — к русскому доктору кинулся. Русский доктор шорцем оказался, лишнюю кишку нашел у кама. Отрезал лишнюю кишку. Просмеяли кама по всей тайге — как не знал про свою кишку, почему духи не помогли?..

...Вот про что думал Самоя, на гостя глядя. Чай пить перестал, трубку курил. Гость чай пил, сахар весь сгрыз — что гостю скажешь? Подбавил Самоя сахару, целую горсть. Гость чай пил сладкий, разговор вел — горький. Про плохую жизнь разговор вел.

— Русские совсем тайгу спортили, — жаловался, — золото копали — все выкопали, железо копают — скоро все выкопают, лес пият — скоро весь спилят...

— Может, правду говоришь, — вроде соглашался Самоя. — Золото, однако, выкопали. Железо шибко копают, лес шибко рубят. Растет лес-то, поди, а железо растет ли — кто знает? Дороги сделали, ездят. По небу вовсе без дорог летают. Тебе, пожалуй, когда камлаешь, к Ульгеню ли, к Эрлику ли пролететь негде — самолеты мешают, э-е, Урмалай Шатый?..

То ли смеется Самоя, то ли правду говорит, как понять? Наверно, не жаловаться — ругаться надо, ругаться лучше: ругань-то всегда сильнее жалобы! Однако насчет полетов к Эрлику во время камлания промолчать решил кам: куда он летал? А вот Самоя, непутевый старик, тот верно, летал — на самолетах...

— Зверь ушел, птица помирает с испуга, рыба помирает — с испуга. Трава и та худо расти стала! Ли-сен-зия!.. — очень сердито русское слово выговорил кам. Самоя будто смех проглотил, закашлялся. Наверно, много дыму хватил из трубки — подавился...

— Птица не самолетов ли боится? Зверь не от паровозов ли ушел? — Не спеша говорил Самоя, будто думал вслух. — Медведя, правда, много стало, так медведь — что? Большой, глупый, чего ему бояться?.. Белка, правда, из Саян пришла, тоже глупая белка — ореха много, вот и пришла. Соболь, тот вовсе дурной: лет тридцать не было соболя в нашей тайге, теперь много стало. Ничего не боится соболь. На Мрас-су, слышал, собаки соболя прямо в поселке под мостом взяли! Пошто к людям пришел, сроду не ходил? Русские развели, потому не боится, что ли?

Если ты кам — пошто ничего не видишь, не знаешь? Если тайга пуста — зачем охотинспектора боишься?..

Рассерчал Самоя, твердым голосом говорить стал. «Задобрить его надо, — думал Ур-малай, — обязательно задобрить! Иначе — куда податься со своей котомкой? Некуда податься...».

— Зачем серчать, Самоя Ваныч? Правду говоришь, все правда! Какой я кам, верно. Самолеты эти мешают... Брошу я камлать, Самоя Ваныч! Шибко хорошо понял — бред-расутка это! Лексию прошлый раз слушал...

Русские слова лихо вставил Урмалай!

— Ты нынче лучше лексии говорил, все я понял!.. Ты только мешок прячь, Самоя Ваныч! Соболишки там, маленько совсем. Так, худые соболишки, поди сами сдохли бы, кабы не стрелял я. Доброго соболя где мне убить, старый я...

— Стрелял Урмалай-анчи в пень, попал в гору! Где тебе в соболя попасть, кам Шатый, во сне разве? Опять ловко пошутил ты!..

— Правда, правда! — совсем быстро согласился кам. — Шутник я маленько, большой шутник... Где мне стрелять, плашкой-сопка ловлю. Ли-сен-зии нет... Закон такой плохой: лисензии нет — судить будут. Полна тайга соболя, за что судить старого человека?..

— Эко, худые русские: много соболя развели, зачем лисензию выдумали? Может, соболь худой тоже? Ты бы поглядел у себя в котомке хорошенько — может, не соболь, айна, оборотень какой! Ты ведь кам — с духами знаешься, разберешься, поди. Мне где разобраться — я глупый старик, неверующий, кермежеками печку топил...

— Пошто оборотень, пошто худой соболь? — Думаешь, промышляю худо, так в пушнине не разбираюсь? Ни одного недопеска нет, даже аскыры есть! Себе бери одного ли, двух ли, Самоя... В Кузнецке-городе человека знаю — сто рублей за шкурку дает! Вод-

ку-магарыч бесплатно... Двух возьми, год араковать будешь, Самоя Ваныч!..

— Хо, год араковать — твоего Эрлика живьем увидишь! Эко, худа ты мне желаешь!..

— Как так худа? Добра желаю, Самоя! Деньги когда худом были? Выручай, Самоя! Ты шорец, я шорец, выручать надо от русского закона. В одной тайге живем...

— Только и правды сказал, Урмалай Шатый: в одной тайге живем, верно. Ты шорец, я шорец — верно. Больше ничего не пойму, то ли ты не по-шорски говоришь, то ли я понимать разучился?

— Как не по-шорски, как разучился?

— Слова, правда, шорские. И русских слов тоже много говоришь. Лисензия, праканер, магарыч. Лексия даже, предрасутка даже... Однако которых слов и я не знаю. Русский закон вот не знал — советский закон, думал, есть. А, Урмалай? Осенним листом береза одета надолго ли, дживыми словами правда скрыта надолго ли?..

...Тюгурук залаял за дверьми, лыжи зашоркали по мерзлomu снегу, голоса слышались. Лицо Урмалай серым сделалось, будто медведя спросонья увидел. Совсем застыл, потом подскочил, как гадюкой укушенный. К кровати кинулся, котомку под постель затолкал, на это место Самою силой посадил.

— Сиди, пожалуйста!.. Хворай, пожалуйста!.. Выручай, половина твоя!.. Самою Таскачакова кто обыскивать будет?..

Морозный дым в открытую дверь ворвался, два человека в открытую дверь вошли. Растаял мороз — два молодых парня в избе

видно стало. Один в шинели милицейской, в шапке со звездой, с пистолетом на поясе. Другой в куртке на молниях, в шапке с длинными ушами, двустволка за спиной. Разделись, поздоровались, к печке прошли.

Митьша да Витьша, кто их не знает, этих парней, в тайге?

— Хвораешь, что ли, Самоя Иванович, с кровати не слезаешь? — Поздоровавшись, спросил встревоженно охотинспектор.

Самоя опять дымом подавился, руками замахал, слезинки на глазах выступили.

— Хворает, хворает! — Подхватил кам. — Как не хворать, старый стал. Кашляет вон, не слышишь, что ли?..

— А-а, и кам Шатый здесь? — Будто только что увидел, удивился милиционер Дмитрий Токмашев. — Эзен, Крачнаков! Шибко ты на лыжах бегаешь, молодым где угнаться! Торопился гостевать к Самое Иванычу, а? Шибко торопился, соболя в старом обутке забыл!..

Витьша-инспектор говорил по-шорски еще худо, понимал-то ладно. Улыбнулся Витьша, соболя достал из-за пазухи. Урмалаева соболя. Потемнело в глазах у кама — видно обыск делали...

— Не забывал соболя! — Тонко закричал кам Шатый. Отчаянно закричал: — Не охотник я, люди знают. Откуда соболя взяли, может, сами убили? Пошто без хозяина в избе шарились, может, украли что, как узнаю? Закон не велит такое пезопразие делать!.. — Русское слово опять очень умело сказал кам. Пожалуй, пугнул парней-то. Надо было пугать дальше, пока не опомнились,

— Гостевать пришел, мое дело! К старому дружку пришел... Пошто гоняетесь, как за подранком? В Таштагол пойду — наган у тебя, Митьша, отберут, шинель отберут тоже, в каталажку посадят! И тебя, Витьша-спектор, посадят тоже! Может, Самою будете обыскивать, может, Самоя — праконер-хичник, а?

— Самою Иваныча какой дурак будет обыскивать? — Совсем не рассердился Токмашев: — Самоя скажет на тебя: вот честный человек, настоящий охотник — сразу поверю, протокол писать не буду.

— А! — Шибко обрадовался Крачнаков. — Скажи, Самоя, какой я человек, пусть узнают, пусть уходят!..

— Зачем уходить? В гости пришли, чай пить будем, самовар ставить буду. — Захотел Самоя с кровати слезть.

— Ай-я! — Заторопился Урмалай. — Сиди, хозяин! Зачем старому хлопотать, зачем больному вставать? Я разве самовар не поставлю?

— Дмитрий, он что — не признает этого соболя, что ли? — спросил инспектор. Растерянно спросил, здорово напугался, видно.

— А ты хотел! У него правды, как у змеи ног, не увидишь. Припрятал где-то, теперь ищи...

— Послушайте, Крачнаков! — Лицо у Витьши совсем как у девки стало, так покраснел. — Я же вас с плашками дважды ловил! Верил на слово, отпускал. А вы снова за старое...

Но теперь у нас много доказательств вашего браконьерства. И спекулянта того... О-ой!

— Прости, Виктор, на ногу наступил я, кажется?

Токмашев встал чего-то, Витьша, наоборот, сел и совсем замолчал.

— Токазательства где? — очень обрадованно закричал кам. — А, Самоя, верно? Совсем хорошо стал жить Крачнаков: сопливые мальчишки кроме слов что имели? Соболь? Так, может, ихний соболь-то? Токазательства нужен ве-шественный! — старательно, по-русски сказал. — А так болтать, старого человека бесчестить закон не велит. Закон велит почет делать старому человеку!..

— П-пух! — Очень большой дым пустил Самоя из трубки, совсем как паровоз.

— Урмалей как чисто слово «закон» говорит, прямо по-русски получается, а, Митьша? Однако старика напрасно обижают. Не попадет ли вам за это, парни?

— Мне уже попало! — Как маленький пожаловался Витьша. — Только за то, что не обижал его, жалел. А он-то жалеет ли зверя?

— ...Жалеет ли зверя? — Как эхо, повторил Самоя Витьшины слова. — Человека жалеть научились, зверя жалеть учимся. Хорошего зверя. Может, это и есть русский закон?..

Парни, похоже, ничего не поняли, а Урмалаю беспокойно стало.

— Соболя-то, говорят, заграница покупает, золото дает? Правда ли, Митьша? — спросил Самоя милиционера.

— Как не правда! — Подтвердил тот. — Богатые бабы-буржуйки на шее носят. Мужики ихние за соболей золотом платят. Валюта называется то золото.

Очень понятно разъяснял Токмашев.

Самоя и сам давно знал про это, да правду лишний раз послушать худо ли?

— Соболя много становится, жизнь лучше становится. Скоро, поди, не будем свое добро чужим продавать — себе сгодится, лишнее разве только продадим.

— Жизнь совсем лучше становится, — задумчиво подтвердил Самоя, — правду говоришь, Митьша.

...Молчал кам, только глаза трусливо и зло бегали, как у хорька, прижатого в угол. А Самоя опять говорил. Неторопливо, будто вслух думал, будто хитрого зверя след распутывал:

— Наши бабы на шею надевать соболей будут, а? Пожалуй, Митьша, неладно моему худому стариковскому заду сидеть-то на такой красоте, а?..

Закряхтел Самоя и... сполз с кровати.

...Протокол писал Митьша Токмашев. Не зря семь лет учился по-русски: шибко хорошо писал, быстро. Потом читал по-русски и по-шорски: Самоя-то все ладно понимал, да кам Шатый чего-то совсем по-русски понимать отказался. Подписал Митьша, подписал Витьша-инспектор. Крачнаков подписать не захотел — не умею, сказал.

— Хо, не умею! — сердился милиционер. — Прошлый год акт составляли: в твоём огороде геологи шурф били, за то тебе платить полагалось. Тот раз ты шибко умело расписывался! Теперь разучился, что ли? Ладно...

И вслух прочитал еще написанное: «От

подписи браконьер Крачнаков отказался». Теперь дал Самое подписать.

Старательно рисовал Самоя свои буквы: ТАСКАЧАКОВ САМОЯ ВАНЧ — все написал, места чистого много было на последней бумаге, все место занял Самоя. Хотел сосчитать, все ли буквы поставил — не успел, Митьша-милиционер бумагу свернул. Однако какой-то буквы не хватало...

Все время молчал кам — злостью подавился. Когда оделись, идти собрались, затычка выскочила.

— Бродажная душа! — Зло, по-русски обругал Урмалай Самою.

— Ты без оскорблений! — прикринул Токмашев, — а то дополнительно привлеку!

— Пошто привлекать? — Совсем миролюбиво отозвался Самоя.

— Не надо привлекать, правду сказал кам. Редко правду говорит, однако, сейчас сказал. Невзначай, поди, со злости... Продал я душу, верно, Урмалай. Советской власти продал. Давно уж, в двадцатом году, пожалуй. Когда банду Чардынь-суки били, когда кама Шатыя к злым духам отправили. Шибко выгодно душу продал я. Придачу давал, правда: дырявый шабыр, рванный обутки, гнилой аил да голодный живот, к спине приросший. Взамен совсем мало дала советская власть, один закон только: человеком Самою Таскачкова считать велела. Только и всего!..

Позабыл, правда, что такое голод. Позабыл, правда, что такое холод. Премии сколько давали за пушнину, грамоты сколько давали. В сельсовете портрет вешали, в газете

портрет печатали. Самоину жизнь писали, хвалили больно. Лишнего хвалили, пожалуй, доброго дела не жалеют нынче для человека, доброго слова чего жалеть?..

Большая гордость зазвенела в голосе у Самой, потускневшие глаза, как у молодого, стали — заблестели. Очень гордо говорил Самоя — когда так научился? Было бы собрание — хлопали бы люди, пожалуй, такому разговору!..

— Теперь старику деньги платят — пенсия называется. Ни за что, думал, платят — кам, спасибо, догадался: за душу мою. Эко душа дорогая у Самой, эко глупый закон русский, а, Урмалай? На самолетах летал Самоя, верно. Только каму Урмалаю это в диковину ли — он ведь на злых духах летает! Да вот от нас прошто-то улететь не сумел. Не мотор ли у твоего айны испортился?..

От обиды и злости трясло Урмалаю Шатыя.

От жадности трясло еще больше — из-за проклятого старика котомку отобрали. Ни одного недопеска не было в котомке, аскры даже были...

— Зазнательный стал! — По-русски кричал он Самое. — Лечиками дружишь, милисии помогаешь! Гостя каталажку съешь, закон тайги поломаешь!..

— Эдак, эдак, — по-русски же соглашался Самоя, вроде совсем добродушно. Только в узких щелочках век, как острый нож, глаза заблестели. Урмалай подумал: так глядит Самоя через мушку ружья на поднятого медве-

дя. И даже поежился Урмалай. Однако, уходя, храбро и с ожесточением плюнул:

— Тыфу на порог твоего дома!

— Тыфу на твою кривую тропу! — В долгу не остался Самоя.

С минуту старики смешно и сердито плевались. Парни не смеялись—смотрели серьезно. Витьша-инспектор, когда прощался, долго руку жал Самое, благодарил.

Глаза у него большие сделались, щеки совсем зарумянились. Даже запинаясь, сказал:

— Вы, Самойло Иванович... Удивительный вы человек!

— Я—удивительный, — сгоряча согласился Самоя, а потом долго думал: пошто удивительный-то?..

...Уходили нежданные и беспокойные гости. Сутулясь, совсем по-стариковски шаркал лыжами самозванный кам Шатый — вовсе непутевый человек, браконьер Урмалай Крачнаков. За то, что камлал, людей дурачил — не судили. За то, что тайгу грабил, судить будут...

Шли за ним Митьша-милиционер, здешний вовсе шорец, и Витьша-инспектор, берегущий тайгу от дурных людей...

— Хорошие парни, совсем хорошие парни! — С гордостью подумал Самоя. Потом засмеялся, вслух сказал: — И ты, старик, однако, ничего парень, а?..

На душе было спокойно.

Хорошо было на душе...

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ

...К утру всегда выстывала изба. Встать надо было, камелек подтапливать надо было. Однако худо ли? Все равно стариковский сон короче воробьиного носа, а думы длинные и запутанны, как охотничьи тропы... Целую ночь проспишь разве?

Хорошо было вставать на исходе ночи, покряхтывать маленько больше, чем надо бы. Подсохшим за ночь озагатом ноги обмотать, обутки натянуть. Накинуть теплую кожаную, с меховой подкладкой летнюю куртку — ах, как ласково ложилась на худые стариковы плечи летная одежда, Колькиванычево подаренье.

Долго, неторопливо колот лучину Самоя, потом растоплял камелек. Сухие кедровые поленья дружно загорались, весело загорались. Хорошо, вкусно пахли горящие дрова, живое тепло потихоньку шло по избе. Будто добрые духи, плясали на стенах, на полу, на лице старика золотые и красные отсветы — весело глядеть на живой огонь! Садился Самоя у камелька на мягкую — зимнего козла — шкуру, курил трубку, думал...

Тюгурук выползал из своего угла — тоже

старый, давно потерявший проворство. Рядом ложился, тоже на огонь глядел, тоже думал о чем-то. Может, белую свою промысловую удадь вспоминал? Кто знает, о чем думает старая собака, когда на огонь смотрит?..

Хорошо было. Спокойно было...

Третий год жил на Ак-су, Белой речке, старый охотник. С той поры, как подстрелил он белую белку — долго ждал несчастья. Только несчастье не торопилось, и Самое ждать надоело. Промышлять, однако, все равно бросил — глаза подводить стали, ноги худо ходить стали.

Колька Ваныч, теперь большой летный начальник, Мукалай Ваныч пенсию Самое выхлопотал. Чудак маленько Колька Ваныч — зачем Самое пенсия? Парасковья померла, одному много ли надо?.. Шапку свою чудную подарил, куртку свою теплую подарил — всегда в них жарко было! — и велел носить, чтобы не простывать.

А-бо-о, какой чудак, Колька Ваныч! За всю жизнь не знал Самоя, что такое простуда...

...В это утро раньше обычного дед Самоя встал: еще неясная радуга на промерзшем стекле лежала. Это поздняя луна через окно в избушку охотника заглядывала. Растопив камелек, Самоя долго полировал острым ножом новый каек. Совсем ладный каек получился — прочный, выдержанной березы. Прямая, будто точеная палка хорошим изгибом переходила в лопаточку-лодочку на конце. Хорошо таким кайком направлять с горы летящие лыжи. И лыжи были ладные — гиб-

кие, широкие, обтянутые настоящим камусом — шкурками лосиных ног. Лосиный-то камус куда лучше конского.

Ай, как обрадуется маленькая Аганя, девочка-одуванчик с беленькими косичками! Настоящие камусовые охотничьи лыжи, настоящий каек — по росту все. Влезай на любую гору — не поскользнешься, катись, опираясь на каек, — не свалишься. А на голицах-то много ли находит ребенок по глубокому снегу? И скользко, и топко.

...Солнце поднималось уже, когда Самоя в гости отправился. На пасеку, к Агане-девочке и к ее деду — дружку Апоньке Пиличу в гости. Совсем рядом пасека была — версты три будет вверх по реке. Уважал Самоя друга Апоньку Пилича за рассудительность, большую бороду и умение обращаться с пчелами. Афанасий Попилович любил Самою за бесхитростную доброту, спокойную смелость и нестариковскую выносливость. И оба души не чаяли в маленькой белоголовой Агане...

Нахоженная лыжня почти не блестела — заиндевела. Дымились оранжевым паром полыньи на Ак-су. Прибрежные тальники куржаком обросли, точно в горностаевые шубки оделись. Снег блестел матово, мягко. Блеск не резал глаз — к теплу.

Справа, весь залитый солнцем, вздымался грозный и недоступный хребет Эрлик-тайга. Громады скал чернели мрачно и гордо. Близну снегов между ними ни одна лыжня не прочертила. Дурное место, чертово место, никто из охотников не ходил туда. Только Самоя знал путь через Чертов перевал, но и

он давно не бывал там: отходил свое. В лишнее место человека лихая нужда загонит разве. А деду Самое чего теперь — не торить новую лыжню, по готовому следу неспешно лыжами шоркать...

Хорошо, покойно жить одному в тайге. Только вообще хорошо, когда добрый сосед есть, друг есть, к которому можно в гости сходить. Кто не любит в гости ходить? Недобрый человек разве? А нынче вообще гостевать славно: ночью старый год помрет, новый год родится. Всем людям праздник, большой праздник. У Апоньки Пилича сладкая медовуха наварена... Э, как хорошо гостевать!

Дед Самоя на ходу рассмеялся, подумав: войдет он в Апонькину избу, медом и воском пропахшую, подарок на улице оставит. Обязательно оставит!.. Поздоровается, посидит. Аганя защебечет, расспрашивать будет, когда деданька Самоя медведя убьет. Про медведя Самоя промолчит, равнодушно спросит у Апоньки:

— Ты не спрятал ли какого гостя, бородастый старик? У двери лыжи стоят, каек стоит — где хозяин их?

Конечно, Аганя выскочит проверять и... Опять рассмеялся Самоя, девчонкину радость представив. Хороший подарок к Новому году. Совсем хороший русский обычай подарки делать в праздник.

...Никто не встретил Самою у крыльца, никто в окно не выглянул. Вообще ладно получалось. Поставил лыжи у стены, каек прислонил к ним, полюбовался: «Ничего, старик, добрую работу сделал».

Шагнув через порог в избу, весело поздоровался:

— Эзен, Апонька-борода, эзен, бабушка Паря, драстуй, большой человек Аганя! Не гость ли пришел, не весть ли принес?

И — осекся. Неладное было в избе, будто невидимым облаком беда висела. Друг Апонька сгорбился, словно деревом ушибло, борода спутана, в глазах — тоска, как у раненого марала.

— Самоя, друг, беда у нас — Агане плохо!..

И затоптался потерянно, не зная куда девать себя, куда девать беду свою. Бабка Паря подняла на Самою глаза, полные такого горя, что у старика перехватило дыхание. Однако не забыла пригласить раздеться, гостем быть велела. Как гостем быть, если горе в доме?

Шепотом, будто секрет большой, Самоя говорила: — Ночью схватило дитенка ни с того, ни с сего. Головы потеряли со стариком, что делать — не знаем...

Над кроватью склонился Самоя и отшатнулся: не узнать веселую девочку, блее белых волос Аганино личико. Ротик полуоткрыт, сухие губы воздух хватают. Синие-синие глаза темными стали, не узнают Самою.

— Аганя, я тебе лыжу принес. Хоро-оший лыжу, бегать надо... Зачем кворать-то? Новый год идет, елка несет... — Пробовал улыбаться Самоя, губы худо слушались, дрожали. Голос пропал совсем. Тихий девочкин стон в сердце ударил, горло сдавил...

...Только у самого подножия Эрлик-тайги немного опомнился Самоя. Дыша тяжело,

как загнанный олень, обругал себя вслух:
— Совсем дурной стал! Пошто бежал, силу терял? Силу потеряешь — как в Усть-Ур попадешь?

Потом долго курил, отдыхал. Уже не думал, как решился идти через Чертов перевал — почти на верную гибель. Он просто знал — надо идти, нельзя не идти. По Ак-су, кружным путем, верст семьдесят до Усть-Ура. Санной дороги нет. Наледи, полыньи... На нартах — два дня везти надо, ночевать у костра, — помрет девочка. Врача звать — туда-сюда ходить, молодому и то сколько дней надо? Друг Апонька на лыжах вовсе никудышный ходок, Самоя Эрлик-тайгу знает. Ходил два ли, три ли раза.

В двадцатые годы отряд провел — ЧОН назывался тот отряд. Все прошли, никто не погиб. Банду Чардын-суки всю побили. Последнюю банду. Геологов выручал во время войны — тоже ходил. Чуть не пропал тогда. Последний раз ходил. Теперь старый стал, не посмел бы пойти, но кто выручит девочку-одуванчика?

Надо идти. Нельзя не идти.

...Коварен хребет Эрлик-тайга. Начинаясь крутым склоном в густой тайге, он заманивал путника в каменный хаос. Недаром верили люди, что сам злой дух Эрлик в недобрую минуту нагромоздил эти грозные скалы, рассек хребет крутыми распадками и ущельями, усыпал склоны каменными осыпями-курумами. Над щелями-распадками нависали снежные надувы, готовые в любую минуту похоронить смельчака. Многие распадки конча-

лись тупиками, упираясь в отвесные каменные обрывы. То сугробы снега, то голый камень-шихан — ни пешком, ни на лыжах. В одном только месте можно было пройти с великой опасностью, да и то в многоснежную зиму,

Здесь-то и сделал вторую остановку дед Самоя. Крутая снежная стена преграждала путь. Тронь ее — может рухнуть, похоронить заживо. Плыл из трубки дымок, неподвижно сидел старик. Надо было подумать, шибко хорошо подумать. Тут самое страшное место — нельзя торопиться. Крепко глядеть надо...

Глаза цепко обшаривали каждый выступ, каждую трещину в стене. Не найдя ничего с этой стороны, Самоя повернулся к другой. Там, на высоте в три-четыре человеческих роста, тянулся узкий карниз-бом, пропадая в снежной толще. По нему можно было добраться до снежного порога, но там... Если снег не слишком смерзся, за снежным порогом откроется царство Эрлика...

Старик привязал к котомке лыжи, размотал моток веревки. Привязал каек и, как копье, резко метнул его вверх. Пролетев у вершины кривой сушины, стоявшей над обрывом, каек скользнул обратно. Веревка плотно обхватила ствол сушины.

— Ладно, однако. — Вслух похвалил себя Самоя. — Ничего, рука крепкая. — Ухватился за оба конца веревки и, покряхтивая, полез по выступам на карниз. Здесь передохнул, смотал веревку, снял рукавицы. Спина к обрыву, медленно двинулся вперед, цепляясь за щели и выступы. С сожалением подумал: разуться надо бы, в обутках худо...

Тянулись минуты, длинные, как зимняя ночь. Бом пошире стал, в снежный порог уперся. Самоя подтянул каек, начал тихонько ковырять ступеньку в снегу.

— Плотный, однако. — Осторожно подумал, боясь обмануться. Встал на ступеньку, подтянулся, лег на гладкий надув. Зарывая пальцы в снег, пополз. Это было самое опасное место — снег мог не выдержать тяжести тела...

Старик лежал, вглядываясь вперед. Совсем близко чернели камни и сухие деревья, совсем близко... Подтянув каек, перевязал веревку на середину. Обливаясь от напряжения потом, прицелился в ближнее дерево и скользом, по снегу, толкнул каек вверх. Не долетел каек. Скатился назад... От толчка хрустнуло под Самоей, зашуршало. Сжавшись, он почувствовал под собой ненадежную сыпучесть снега.

Очень ясно подумал:

— Попадать между деревом и камнем надо. Не зацепится каек — пропал Самоя: назад ходить нельзя...

Немного отодвинувшись от стены, снова резко послал каек чуть наискось. Копьем пролетел каек и лег между деревом и камнем. Потянув веревку, Самоя трудно выдохнул воздух — каек держался. Наматывая на локоть веревку, пополз. Руку стягивало до боли. И тут почувствовалось, как стал подаваться из-за камня каек. Снег уже шуршал громко, безостановочно. Но все ближе и ближе становились черные камни...

Последние метры Самоя преодолел отча-

янным рывком — через смерть прыгнул. Вмертвую обхватив камень, упал... Позади курился пылью рухнувший снег, страшно чернела разинутая пасть обрыва. Сердце Самоя долго не возвращалось на место, потом забилось гулко и радостно — обманул злого Эрлика Самоя!

Мелко дрожали ноги, не желая стоять над обрывом. Медленно смотал Самоя веревку, пошел по камням между деревьев...

...Вниз, к Усть-Уру, Самоя летел, как бывало в молодости за раненой кабаргой. Деревья в черную стену сливались, слезинки тыли на ресницах и сердце вперед самого себя летело! Снег здесь был надежен, распадки шире, лес книзу все реже, склон чище.

Поздним вечером дед Самоя без стука ввалился в квартиру радиста. Яркий электрический свет, громкая музыка, хохот и пение оглушили и ослепили его. Весь в снегу, заиндевевший, старенький и смешной перед нарядной и пестрой компанией, стоял он у порога, пока его не заметили.

— Дед Самоя! — Кинулся из-за стола радист Иван, знакомый давно парень. — Гость новогодний да гость свадебный — самый дорогой!.. Милости прошу к столу, Самойло Иванович! Леночка, мама, друзья, знакомьтесь: гордость тайги, живая легенда, дед Самоя в гости пришел. Услыхал про свадьбу, а? Вот спасибо, вот уважил!..

— Драстуйте. Прошайте, пожалуста. — Тоненько проговорил дед Самоя. — Не надо к столу, Иванак. Радива давай, тилиграма делай — самолет нада.

— После телеграммы дадим, Самойло Иванович. Садись за стол и — точка!

— Не надо точка, Иванак! — торопился Самоя. — Человек помирает, Аганя-девочка помирает. Я шибко торопился, через Эрликтайгу шел...

Изумленно замолкли гости, глядя на старенького человека, одолевшего Чертов перевал.

— Самоя, да ты вправду? — ахнул радист. Он извинился перед гостями, накинул на плечи полушубок и выбежал из избы...

...Гудело, жужжало, пощелкивало в железных ящиках знакомое и, все-таки, волшебное радио. Мигало разноцветными лампочками старику, успокаивало. Надел Иван на голову кожаные наушники-нашлепки, в дырчатый пенек — микрофон стал кричать громко:

— Горск, Горск! Я Усть-Ур, я Усть-Ур! Как слышите меня, прием!

Дед Самоя глядел на радиста с большим уважением и надеждой: хороший радист Иванак, обязательно докричится до Горска. Что говорил далекий Горск, старик не слышал, но жадно ловил каждое слово Ивана. Сердце чего-то то большим становилось, то совсем маленьким...

— Плохо, дед, — обернулся радист к старику, — самолет нельзя послать, садиться негде. Вертолет только командир может...

— Зови скорей Кольку Ваныча! Скажи, Самоя просит, шибко просит...

И опять потянулось нестерпимо ленивое время. Наконец, радист встрепенулся, закричал снова:

— Николай Иванович? Уже рассказали? Да-да. Через Чертов перевал пришел!.. И я говорю, невероятно... Но — факт...

Эко много лишних слов Иванак говорил!..

— Поговори-ка, дед. — Радист надел Самое наушники, подвинул микрофон. Сквозь писк и треск старик вдруг ясно услышал далекий голос давнего друга:

— Здравствуй, дорогой Самоя, с Новым годом тебя! Что там стряслось?

— Колька Ваньч! — Отчаянно закричал Самоя. Потом поправился: — Мукалай Ваньч! Аганя-девочка помирает на пасеке, на Ак-су! Помогай, пожалуйста!.. Помират Аганя-мнучка, шибко скоро помогай!..

Кто-то холодной рукой взял Самоино сердце. Не больно взял...

...Придя в себя, дед Самоя с удивлением увидел, что лежит на лавке, а радист Иванак зачем-то брызгает ему в лицо водой.

— Все в порядке, дорогой дед! Успокойся, вертолет прилетит, спасут твою внучку! — очень радостно кричал Иван. — А ты ослаб просто...

— Однако старый я стал совсем, — пошорски сказал Самоя — плакал, помирал маленько, что ли... А по-русски добавил: — Свадьба портил тебе, Иванак. Прощай, пожалуйста, не сердись...

Уже совсем светало, когда он вышел из избы радиста. Поселок просыпался в синей утренней мгле. Далекий рокот донесся сверху. В синем, на диво чистом небе, летела громадная стрекоза. Рокот ширился, нарастал, оглушал радостным волнением Самою.

— Тихо летишь, паря! Шибче надо! — Крикнул Самоя и рукой погрозил вдогонку вертолету.

За Эрлик-тайгой поднималось солнце. Проклятая гора вдруг засветилась, засияла нежным золотистым светом. Загорелись снега, черно выделились клыки скал, заблестала кружевная оторочка тайги. Он был красив и совсем не страшен, Чертов перевал. Вертолет легко и плавно перевалил его, вспыхнул искоркой и исчез. Наверно, он вез особенно мудрого и умелого доктора к девочке-одуванчику. Пустому человеку разве позволит Колька Ваныч лететь на такой машине?..

...Голова у Самои совсем заиндевелила, но он не чувствовал холода, он глядел и глядел на грозно-пламенеющий перевал и плакал. Плакал от пережитых потрясений, от нестерпимой усталости, от страха и радости за Агню-девочку, от неясной мысли о том, что это был последний в его нелегкой жизни опасный перевал...

— Э-е, — рассердился на себя Самоя, — какой никудышный старик стал! Совсем глаза слезу не держат!..

ПО ДАВНЕМУ СЛЕДУ

...Худо было деду Самое. Раньше, пожалуй, никогда так худо не было. Очень ладно все начиналось, очень неладно кончилось.

— Нахвастал, старый бурундук... Доброе дело разве откладывают? Только беда никогда не опаздывает, а запоздалое добро людям себе худом оборачивается...

Горькие мысли голову тяжелой сделали, сердце усталым сделали. Ноги стоять отказались, растерянно потоптался старик, сел на валун. Голову опустил. Теплый камень был, солнцем прогретый, а Самою маленько знобило. Закутаться хотелось потеплее, забыться. Со стороны было жалко на него смотреть: очень заметно стало, как он стар и щупл и совсем непривычно растерян.

Узловатые, темные, точно корни таволги, руки дрожали. Трубка не набивалась, табак на землю сыпался. Задумался Самоя. Как комары, надоедливо и больно липли к сердцу слова очкастого парня. Уши слова ловили, голова узнавать их не хотела, да разве от комаров отмахнешься — жужжат да жалят.

Колька Ваныч сердито слушал парня. Тоже и ему не больно весело: и его обманул Са

моя, летели зря, ветролет гоняли зря. Как не сердиться.

— ...Так вот, знаете, и потеряла гора свое название первое, превратившись из Собачьих ушей — Ит-Кулака — в Кулациху. А новое имя ей больше идет — несметно богата рудой и очень неохотно отдает богатства... Конечно, ваш старик, товарищ летчик, слышал про нее, но не догадывался, что бывший Ит-Кулак и есть Кулациха.

— Я и сам этого не знал! — Серdito сказал Колька Ваныч.

— Конечно, конечно! — Быстро говорил парень. Будто все, что знал про эти места, торопился, как из мешка, вывалить на Кольку Ваныча, да не заметил, что вываливает на Самою. Много, правда, знал, не зря очки носит. — Я ведь, видите ли, краевед-любитель, потому и знаю. Поэтому и решил навязаться к вам со своим знакомством. Многие хорошие музеи начинались с любительских коллекций, а у вашего деда трубка редкостная, прямо уникум, знаете ли!

— Да помолчите вы! — Оборвал парня Колька Ваныч.

— То есть... В каком это смысле? — Обиженно очками блеснул парень.

— В буквальном! Посмотрите, что со стариком делается! Черт вас, извините, сунул с вашими сведениями так бестактно!..

— Так... Бестак... — отозвались Колькиванычевы слова в голове у Самои. Пусто отозвались и больно. Хотел поругать друга — зачем зря парня обижает? Чего знает — говорит, не знал бы, разве сказал бы? Шалавый, правда,

маленько парень: рассказывать начал непрощенный, угощаться табаком не стал, не курю, говорит, а трубку увидел — выпрашивать кинулся, будто давно потерянное нашел. А так — ничего парень. Молодой.

Забыл поругать друга Самоя — что-то очень уж темно на душе становилось и саднило, будто...

— Самоя! — позвал Колька Ваныч. Не отозвался старик. Что мог сказать Колька Ваныч? Утешить ли, пожалеть ли. Так ведь горькую правду кислой жалостью неправды слаще не сделаешь...

...У ног старика вода — глубокая, воронками крутится. По-весеннему, вровень с берегами плещет, через каменную запруду излишек льется, шумит. Ладно догадались люди, старательский разрез в купальную яму переделали, в пруд. Любит молодежь купаться, а глубокое место где найдешь по горным речкам? Давно купаются, а старый дурак думал — все нетронутое лежит, находку бережет, ждет, когда Самоя вздумает людям открыть про золото.

...Эко блесит вода, даже глаза режет, глядеть больно.

...Правду сказать, золотины тогда Парасковья нашла. Котелком зачерпнула в ручье, мясо варить хотела. Медведя они подняли в этом месте. Парасковья молодая была, глупая — стреляла первой, сразу положила зверя. Однако шибко рассерчал тогда Самоя, крепко ругался:

— Пошто баба вперед мужика стреляла? Худа не накличешь ли?

Долго пели, топтались по обычаю вокруг медведя, приговаривая, что, дескать, никто не убил его: сам, на кедру лазая, упал да спину сломал, сам со скалы свалился да убился. Не на кого сердиться, с кем не бывает... Однако не пропадать же мясу, вот и возьмут его Парасковья да Самоя, добром помянут дядю медведя.

А потом, когда разожгли костер, зачерпнула Парасковья котелком воды — ключик бил в этом месте, не замерзал ручей, — оказалась в котелке золотины. Шибко напугалась — сроду золото беду за собой в тайгу приводило. Самоя поначалу напугался тоже: неладная была золотины, вроде ящерицы желтой, маленькой и глаз черный. Один глаз. Вроде, кермежек Хозяина гор.

...Что делать — молодые были, темные, чему только не верили...

Забоялась Парасковья, велела Самое бросить золотины в промоину, откуда зачерпнула ее. И никому не говорить. Обманул тогда же ну Самоя. Бросил в ручей камешек, находку в руке оставил. Очень хотелось Самое новое ружье купить, даже страх пересилил. Да и как знать было, что хуже — то ли поднять, то ли поднятый бросить золотой кермежек неведомого духа. После заболела Парасковья, то ли от испуга, а может, так просто, только не купил ружья Самоя и сказать никому не сказал — спрятал золотую ящерку и много лет не трогал. Тоже, правда, боялся — худо бы не сделать бабе.

Перед самой войной не вытерпел, сказал про давнюю находку геологу. Узнала стару-

ха, опять худо стало ей. Заболела, помирать захотела, тосковала очень. Посылала старика узнать — нет, никто не копал золота в том месте. Поправилась Парасковья...

...Удивлялся Колька Ваньч Самоиной памяти, когда летели. Сам он в карту смотрел, кричал в ухо Самое:

— Сюйка-то вот она, но тут же какой-то Самохин ключ и гора Кулачиха. Никакого Ит-Кулака нет. Это железный рудник, Самоя. Не забыл ли ты место?

— Ит-Кулак! Этим самый место и есть! — Обрадованно закричал Самоя. Тогда-то и подивился друг его памяти: гору видел Самоя давным-давно и снизу, с земли, а узнал ее, изрытую, сверху.

Когда шли от вертолета к поселку, радовался Самоя, много говорил:

— Железо, рассказываешь, теперь берут, Колька Ваньч? Эко железо берут — по золоту ходят! Ничего, главному начальнику скажем, перестанут ходить. Железо-то мало ли где есть: кругом оно. А золота нету вовсе, выкопали везде, только здесь не увидали...

И чтобы не обидеть тех, кто не увидел золота, говорил:

— Нонче к железу все привычный. Забыли золото. Городской глаза — где увидеть! Я и то не первый увидал тот раз. Парасковья увидал. Она ох и глазастый баба была, только темный маленько.

А для справедливости добавил:

— И я, Мукалай, не шибко светлый, видишь — сколь годов молчал, думал, не было бы худо старухе.

Но радость Самой постепенно гасла. Все нетерпеливей искал он старые приметы: скалу, разрубленную поперек глубокой щелью, устье ручья, впадающего в Сюйку, — все, чего не могли сдвинуть или закрыть строениями люди. И все больше суетился, кружил вокруг неожиданного пруда и поругивал себя, не веря глазам:

— Дырявый голова, весь память растерял...

...Шумела на запруде вода, шумел вокруг праздничный молодой поселок. Бревенчатые дома потемнеть не успели, ступенями лезли по крутым бокам гор, будто на крыши друг другу наступали. Торопливо отступала тайга. Даже на самых хребтинах гор зияли плешины вырубок. И только лес буровых вышек рос вокруг. Самоя знал — это геологи бурят скважины-дыры, щупают, где железо лежит, проверяют, сколько его. Так хорошие хозяева делают, только лес вышек настоящий-то лес не заменит. Пожалеть бы маленько надо тайгу — где ей против машин устоять!..

Долго собирался Самоя добрый подарок сделать людям. Хватился, а дарить-то и нечего... Так теперь горько Самое — старость свою почуял даже. А тут еще парень подвернулся здешний, трубку выпрашивать стал. Рассказывать стал, куда денешься? От беды, закрыв глаза, не спрячешься, от правды, заткнув уши, не скроешься.

— Скажите, а вот, говорят, здесь раньше богатое золото было? — спросил парня Колька Ваныч.

— Ну что вы. Промышленных, даже для

старательских масштабов, запасов золота здесь и не было вовсе.

— Как не было! — Рассерженно закричал Самоя. — Ты, однако, совсем соврешь, паря, этим месте самородку подымали люди! Сам видел, сам в руках держал! Это тебе не золото, што ли? — И протянул парню золоти́ну. Хорошо парень золото взял — бережно и не жадно. Посмотрел внимательно, вернул Самое, говорить дальше стал:

— Золото здешнее, товарищ летчик, кустовое. Да и «кустов»-то раз-два и обчелся. Выбрали в войну и забросили. Но вот что интересно: если этот самородочек действительно здесь подобрали, то ведь с него, выходит, и рудник начался. Проверяли заявку, нашли железо... — И опять стал трубку просить у Самои, не для себя, говорит, для музея, заплатить сулился.

Поднялся Самоя, долго трубку свою рассматривал: обкуренная, длинная, с медными колечками, старая, правда, — теперь нет таких.

— Э, чего тебе трубка, паря. Вот золоти́ну возьми людям показывать. Поди, дороже трубки.

Отказался парень от золоти́ны. Наверно, думал — жалеет старик. Молодой, не понимает: к трубке человек привыкает, к золоту — какая привычка может быть? Худая привычка к золоту, сроду ее не было у Самои.

— Чего интересный — трубка? Вот хозяин ему трубкин шибко интересный старый дурак...

— Ну, зачем же вы так, дедушка?

— Хе, зачём! Зачем думал глупый старик: жизнь на одном месте стоит, как этот гора, дожидается, когда Самоя Таскачаков придет толкнуть ее куда-нибудь. Гора и то другой стал совсем, а жизнь так быстро бежит, где старому угнаться...

— Самоя? Это вас так зовут? — закричал парень, — Самоя Таскачаков? Не может быть! Самоя отодвинулся даже: эо шальной парень. То ему старую трубку купить охота, то радуется, будто родню нашел, а сам не верит, что Самоя — это Самоя!..

— Так ведь вы же и есть первооткрыватель, дедушка! Товарищ летчик, я же говорил, что, проверяя золото, здесь нашли руду. А заявка была сделана охотником Самойлой Таскачаковым, я помню, я же такие вещи собираю... И ключ этот, кстати, называется Самоин Ключ, только, видимо, для удобства произношения картографы переделали его в Самохин Ключ. Да идemте ко мне, я вам документы покажу.

...В квартире парня места пустого не было: и камни разные, и куски руды, и огромные кости, и кольчуга какого-то богатыря-алыпа, и даже бубен шаманский — настоящий, старый бубен. В ящиках под стеклом всякая мелочь, туда и трубку Самоину положить хотел хозяин, людям показывать. Зачем трубку показывать, кто его знает...

Много чего рассказал парень, но главное, от чего Самое опять хорошо стало, — что он все-таки помог найти железо на Ит-Кулаке. Думал про золото, а натакал людей на железо. А-або-о, какой умный парень оказался!

Ванькой звать. Совсем хороший Ванька, в очках только, глаза плохие. Шибко радовался он, много Самоиных разговоров записал. Дружить, говорит, будем. Пошто не дружить — Самое все хорошие люди друзья. Ужинать стали, выпили маленько парни ради праздника, и Самоя маленько выпил.

— На праздник завтра пойдем, дед Самоя. Я вас народу покажу, со многими людьми познакомя. Почетным гостем на нашем Первомае будете... — уже засыпая, звал Ванька. Чудной все-таки Ванька — чего показывать Самою. Да и не он нашел железо. Тогда давно записал геолог Самоины слова про золото, самородок посмотрел, назад отдал, велел на прииск сдать. Парасковья деньги брать не велела, кассир без денег брать отказался. Тут худо стало Парасковье, что обманул ее Самоя, так сбереглась золотиная... Теперь в Ванькином музее будет — в коробку тайком ее сунул Самоя. Ваньке-то можно, он не для себя собирает — людям показывать.

Заснули рядом Колька Ваныч, старый друг, и Ванька — молодой. Хорошие люди... Ничего, не обидятся, что тайком ушел Самоя. Тут людей и без Самои много. Целый город, веселый праздник будет. А Самою ждут на праздник Аганя-девочка, да друг Апонька-борода, да бабка Паря — очень хорошие люди. К ним-то на пасеку в тайгу кто в гости придет?

А тут без дела жить незачем, а дело сделано. Не так, как думалось, а все равно хорошо. Железо-то, Ванька говорит, нужней золота. Как, поди, не нужней — мосты вон и те стали железные ладить.

Шагал Самоя по тайге не торопясь, думал. Пройдет человек по тайге — след останется. Однако не радуйся: пока другие люди по твоему следу не пройдут, тропы не будет. Помятая трава поднимется, сломанный сучок потемнеет, сбитый мох высохнет, вдавлена от обутка на сыром месте заплывет — и ровно никто и не хаживал этим местом...

А пройдет другой человек, пройдет третий — следок-то заметнее. Еще пройдут люди — траву вытопчут, колодины на перелазе оботрут до блеска, на перешаге выбьют до земли. Выбьют, сухой сук обломают, сырую ветвь срежут — и вот уже тропа стала.

Жизнь пройти, что след проложить: один тропы не сделаешь, люди тропу торят. Топкое место обойдут ли, мостки ли изладят, сквозь бурелом ли пробьются, спрямляя след, — будет тропа за тобой, если шел, куда людям надо... Жалко — по жизни другой раз не ходят. Эко горе: видит человек, оглянувшись, — там неладно шел и тут кривулину дал, да по своему следу в пята не пройдешь... Однако заломки-знаки оставляй где нужно: если ты в согре в топкое место попал, другому, следом идущему, зачем попадать туда же?..

...Ладно, ничего... Сердце вот чудное стало — маленько тоскует, маленько устает. Давеча на Кольку Ваныча поглядел — лицо друга расплылось, на парня Ваньку глянул — очки у того отпотели. Потом догадался — у самого глаза отсырели. Гляди-ко, не плакать ли научился под старость.

...Тоже обманулса маленько старый Самоя:

по давнему своему, по молодому следу пройти захотел, а люди давно проложили по тому следу новую дорогу. Большую дорогу... Кто теперь разглядит на той дороге первый одинокий след молодого охотника, кто угадает, где оборвался он?.. Далеко вперед убежала новая дорога, только не стаптывать на ней обутки старому Самое, не догонять молодых...

...Весна вокруг шумела полными ручьями и речками, хорошая весна — молодая, дружная, сильная. Шагал по тайге дед Самоя, привычные ноги сами тропу находили. Все дальше и дальше уходил он от большой шумной дороги, от нового рудника, от праздничного многолюдья к тихой заимке своей. Слушал весну, непривычные думы думал, непривычное сердце слышал...

Ничего, шагать помаленьку можно было. Только вот курить давно и сильно хотелось, а трубки — не было. Оставил все-таки дед Самоя свою старую трубку Ванькиному музею...

ОБЪЯСНЕНИЯ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ

Айна — злые духи, нечистая сила.

Ак-су — букв белая вода.

Анчи — охотник.

Арачка — самогонка.

Аскыр — черный, самый дорогой соболь.

Кам, камлать — шаман, шаманить

Кермежеки — дерезянные божки, идолы.

Недопесок — недошлый, летний мех.

Озагат — трава, употребляемая вместо портянок.

Согра — болото в низине.

Сокпа — соболиная ловушка, давок.

Тюгурук — проворный. Здесь — кличка собаки.

Ульгень — доброе божество, властитель небес.

Эзен — здравствуй.

Эрлик — злое божество, властитель подземного царства.

СОДЕРЖАНИЕ

У небесного потолка	3
Как напугали Парасковью	10
Закон тайги	16
Последний перевал	32
По давнему следу	44

Владимир Алексеевич Измайлов

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ

(Из рассказов про деда Самою)

Общественный редактор В. Банников

Художник Е. Смирнов

Художественный редактор О. Красова Техн. редактор Г. Рудина
Корректор Л. Пронникова

Сдано в набор 21.III-1964 г.

Подписано к печати 28/VII-1964 г.

Формат 70×90¹/₃₂. Печ. листов 2,05. Авт. лист. 1,71.

Уч.-изд. л. 1,8. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2550.

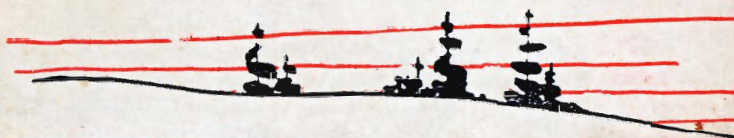
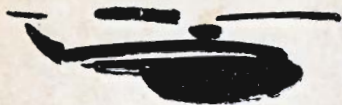
ОП01258. Цена 6 коп.

Кемеровское книжное издательство.

Кемерово, Кирова, 26.

Типография «Кузбасс». Кемерово, Кузнецкая, 9.

Цена 6 коп.



КЕМЕРОВО 1964